

“ОБЛОМОВ” И. А. ГОНЧАРОВА: ОСНОВНЫЕ РОМАННЫЕ ЛОКУСЫ И ИХ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ

© 2012 г. В. А. Недзвецкий

Результатом “огромной силы художественного обобщения” (Вл. Соловьев), в целом отличающей эпос Гончарова, стали крупнейшие пространственные образы романа: картины “чуждого края” Обломовки, петербургской квартиры Ильи Ильича, домика Пшеницыной и др. В статье фиксируется индивидуальная семантика каждого из них в нераздельном единстве со способами художественного изображения.

“The great force of artistic generalization” (Vladimir Solovyov), which distinguishes Goncharov’s epic, gave rise to vast spatial novelistic images; namely, the “beauteous land” of Oblomovka, the St. Petersburg apartment of Ilya Ilyitch, the cottage of Pahlenitsyna, etc. The article spells out the individual semantics of such images, each of which is linked up with the artistic whole.

Ключевые слова: доличностная идиллия Обломовки; квартира-пещера; земной эдем; символика горной Швейцарии; мифопоэтическая символика реки и моста.

Key words: pre-individual idyll, apartment-as-a-cave, the earthly Eden, the symbolic significance of the mountainous Switzerland, the river-and-bridge symbolism.

С учетом возрастной последовательности в жизнеописании заглавного героя основные места действия “Обломова” выстраиваются следующим образом: 1) Обломовка, 2) петербургская квартира на Гороховой улице, 3) загородный весенне-летний парк, 4) дом Пшеницыной на Выборгской стороне. В четвертой части романа к ним добавляются 5) Швейцария и 6) Крым, где зарождается и развивается взаимная любовь Штольца и Ольги и реализуется “норма” их семейно-домашнего счастья.

Относительно автономные в качестве пространственно-временных средоточий того или иного “образа жизни”, названные локусы вместе с тем некоторыми общими свойствами объединяются в две контрастные друг другу группы. Так, тихая квартира Ильи Ильича на Гороховой улице своей изолированностью от шумного и суетного Петербурга подобна Обломовке среди прочего огромного мира; обитатели той и другой равно негативно реагируют на вторжение к ним извне, будь то пришедшее в Обломовку письмо или незваные Обломовым визитеры. Своего рода петербургской Обломовкой окажется и дом Пшеницыной на Выборгской стороне, Невою отгородивший Илью Ильича не только от суетных Волковых-Судьбинских-Пенкиных, но и от мира Ольги Ильинской. В свою очередь, загородный петербургский парк с озером, рощей и окрестными горами, где началась и расцвела “поэма изящной любви”, предсказывает Швейцарию с ее

озерами и горами, а также гармоническую микровселенную южного Крыма. Интеграция отдельных романских локусов “Обломова”, со своей стороны, призвана обогатить их новыми образными гранями. Но сначала надо рассмотреть образный контекст каждого из них.

Смысловой многогранности образа Обломовки служит в особенности, так сказать, *античный* ракурс ее изображения, зримо проявляющий в жизни этого “благословенного уголка” черты мира древнегреческого. Мы помним: обломовцы “хохочут долго, дружно, несказанно, как олимпийские боги”; няня маленького Илюши “с простотою Гомера <...> влагала в детскую память и воображение Илиаду русской жизни, созданную нашими гомеридами”; у обломовцев были своя Колхида и свои геркулесовы столпы (с. 103, 93, 83)¹. “Какие телята *утучнялись* там к годовым праздникам! Какая птица *воспитывалась!*” (с. 88), – восклицает романист. «В каких-то деталях, – пишет исследовательница этой стороны романа, – обломовский мир буквально воспроизводит мифологические образы, и тогда эта параллель оказывается настолько очевидной для повествователя, что он не обозначает ее <...> непосредственно в слове, но лишь намекает на нее, как будто полагаясь на интуицию просвещенного читателя: “Небо там,

¹ Все цитаты из романа (ссылки – в круглых скобках) приводятся по изданию: Гончаров И.А. “Обломов”. Литературные памятники. М.: Наука, 1987.

кажется, <...> ближе жметя к земле, но не с тем, чтобы метать сильные стрелы, а разве только, чтоб обнять ее покрепче, с любовью <...>, чтоб уберечь, кажется, избранный уголок от всяких невзгод» <...>. «Здесь нет прямой отсылки к древнему преданию, но очевидно, что это описание точно “рифмуется” с мифом о браке Земли с Небом – Геи с Ураном, и об объединившей их силе – все оживляющем Эросе. Возникает образ мира, который весь заключен в любовные объятия <...>» [1, с. 105–106]. С “античным” взглядом на Обломовку совмещается *этнический*, акцентирующий в ее образе национально-русскую грань. “Какие *меды*, какие *квасы* варились, какие *пироги* пеклись в Обломовке!” (с. 89), – как бы вместе с самими обломовцами, вкушавшими эти яства, восторгается романист. И недаром: мед, сообщает этнолингвистический словарь “Славянские древности”, – «символ бессмертия, плодородия, здоровья, благополучия, красоты, счастья, “сладости” жизни; его называют пищей богов и эликсиром жизни»; он “используется в похоронной, свадебной, родинной, календарной обрядности и в народной медицине” [2, т. 3, с. 208]. Издревле общераспространенным напитком русичей, освежающим и бодрящим, был квас, лишь со времени Петра Великого вытесняемый в быту столичного и городского дворянства иноземными лимонадом и оршадом. Среди квасов, по Далю, были и *медовой*, а также клюковный, грушевой, яблонный, готовившиеся без муки, наливкою воды на плоды. Но самым распространенным был квас “из квашеной ржаной муки (сыровец) или из печеного хлеба с солодом” [3, т. 2, с. 102–103], т.е. квас хлебный, а хлеб у русских, как известно, “всему голова”. Именно квасом спасаются от жажды, возбужденной обильной пищей и долгим послеобеденным сном, обломовцы: “А другой, без всяких предварительных приготовлений, вскочит обеими ногами с своего ложа <...> схватит *кружку с квасом* и, подув на плавающих мух так, чтоб их отнесло к другому краю <...> промочит горло и потом падает опять на постель, как подстреленный” (с. 90).

Особого внимания читателей требуют обломовские пироги, персонифицированные тем “исполинским пирогом”, что хозяева Обломовки выпекали по воскресеньям и сами “ели еще на другой день; на третий и четвертый день остатки поступали в девичью; пирог доживал до пятницы, так что один совсем черствый конец, без всякой начинки, доставался, в виде особой милости, Антипу, который, перекрестившись, с треском неустрашимо разрушал эту любопытную окаменелость...” (с. 89). Это подлинный опознавательный знак изображенного в “Сне Обломова”

“чудного края”. «Вспомним, – замечает Юрий Лощиц, – что пирог в народном мировоззрении – один из наиболее наглядных символов счастливой, изобильной, благодатной жизни. Пирог – это “пир горой”, рог изобилия, вершина всеобщего веселья и довольства. Вокруг пирога собирается пирующий, праздничный народ. От пирога исходит теплота и благоухание, пирог – центральный и наиболее архаичный символ народной утопии» [4, с. 171].

С античными и общерусскими приметами и планами образа Обломовки соседствуют библейско-христианские. Обломовцы не только, перебирая при встречах “весь околоток”, “прибегают к стародавним библейским определениям” [4, с. 169]: “Прогневали мы господа бога, окаянные. Не бывать добру. <...> Придут последние дни: восстанет язык на язык, царство на царство... наступит светопреставление!..” (с. 105–106); их “благословенный уголок” имеет наряду с подобиемрая и подобие ада. Это тот самый *овраг*, куда “свозили падаль”, где “предполагались и разбойники <...> и разные другие существа, которых или в том краю или совсем на свете не было”. Зловещий в глазах обломовцев, он своего рода “геенна огненная”, ставшая “в иудаистической и христианской традиции символическим обозначением конечной гибели грешников и отсюда *ада*...”. Находящаяся в долине Хинном, она “была местом языческих обрядов, во время которых приносили в жертву детей (Иереем. 7, 31)”. После уничтожения царем Иудеи Осией около 22 года до н.э. в названной долине языческих жертвенников, место это “было проклято и превращено в свалку для мусора и непогребенных трупов, там постоянно горели огни, уничтожавшие гниение” [5, с. 269].

Житьё-бытьё обломовцев напоминает отчасти райское существование. Им суждено даже своего рода бессмертие (ибо они не умирали, а, “дожив до невозможности <...>, тихо застывали и незаметно испускали последний вздох”) и уж во всяком случае – возможность неизменного покоя. Но Обломовка – рай, конечно, лишь в понимании людей додуховных и доличностных, т.е. как существование не одухотворенное, а *сонное*, не небесное, а сугубо земное. Вполне материален в этом раю и такой общий атрибут Эдема, как цветущий плодоносящий сад, по которому любила гулять “с практической целью” мать маленького Илюши Обломова.

Следующий художественный локус романа – квартира Ильи Ильича на Гороховой улице Петербурга – своей смысловой многогранностью

также обязан слиянию в нем примет и ракурсов общенациональных с античными и библейскими.

Жилец этой квартиры – изнеженный дворянин-помещик и в то же время – один из миллионов россиян, хотя бы потому, что “заливает” свою обиду на Захара не бокалом мадеры или шампанского, которым угощает даже Тарантьева, а квасом, трижды прося его у своего верного слуги (с. 72, 74, 75). Сама же квартира в ее убранстве – как бы предметное воплощение обломовских “может быть”, “авось”, “как-нибудь”: в ней шаткая и разнотильная мебель, запятнанные ковры, настенная паутина; “все это запылилось, полиняло...” (с. 10). С двойными, несмотря на весну, рамами, зашторенными в дневное время окнами и лежащим хозяином она подобна *пещере*, правда, в ее двойственном (амбивалентном) значении.

“П<ещера>, – говорит В.Н. Топоров, ссылаясь на связи ее образа с персонажами греческой мифологии (Полифемом, Паном, Эндимионом, сатирами, нимфами, Зевсом-ребенком и др.), – сакральное убежище, укрытие. <...> В библейской традиции неоднократно скрываются в П<ещере> израильтяне, цари, пророки, Давид и др. <...> В П<ещере> скрываются от мира отшельники <...>, до времени находятся спящие короли и пророки, вожди, герои <...>, очарованная царевна, спящая красавица, хозяин или хозяйка горы и т.п.” [5, т. 2, с. 311]. Аналогичным способом от суетного и бездуховного петербургского мира Волковых-Судьбинских-Пенкиных (вспомним: “Все это мертвецы, спящие люди, хуже меня, эти члены света и общества!” – с. 137) в квартире-пещере скрылся и Илья Ильич, имеющий в себе нечто и от отшельника (со “старцами пустынными, которые, отворотясь от жизни, копают себе могилу”, романист прямо сравнивает Обломова в четвертой части произведения), и от пророка. И охраняя себя от искушений этого мира, он прав не только в собственных глазах, но во многом и в глазах автора романа. Тут ему в помощь и верный страж его покоя Захар, оберегающий Илью Ильича от наглого Тарантьева, на чьи грубости он в ответ *рычит*, “как медведь” (с. 45). Ведь и автор произведения частично согласился бы со своим героем, назвавшим жизнь светско-чиновничьего Петербурга “какой-то кузницей, не жизнью: тут вечное пламя, трескотня, жар, шум...” (с. 147), словом, прямым подобием ада, как он представлен в “Божественной комедии” Данте. В свете последней ассоциации далеко не безобидными предстают и посетители Ильи Ильича, затевающие, по словам Е.Ю. Полтавец, “какой-то зловещий хоровод вокруг Обломова, пока не появляется чуть не разгоняющий их Штольц” [6, с. 26]. Не параллель ли

это, вопрошает исследовательница, с ежегодным шабашом ведьм, которые, согласно средневековой германской мифологии, в ночь с 30 апреля на 1 мая (в день святой Вальпургии) “слетались на метлах и вилах на гору Броккен <...>, пытались помешать благополучному течению весны, насылали порчу на людей и скот и т.п.” [7 т. 1, с. 212]. В самом деле: и визитеры, явившись к Илье Ильичу в день начала праздника – *первого мая*, – один за другим зовут его на *светское* гуляние в Екатерингоф, дающее известные основания для сравнения с шабашом ведьм.

В изоляционистской позиции Ильи Ильича и в мифологеме пещеры есть, однако, и другая сторона. “В отличие от дома, П<ещера> <...> непроницаема: в нее не смотрят и из нее не выглядывают, не наблюдают... <...> В П<ещере> темно, т.е. безвидно, как в *хаосе* <...>, поэтому в ней можно только слушать, но нельзя видеть... Внутреннему пространству П<ещеры> присущи <...> *бесструктурность, аморфность, спутанность*... <...> П<ещера> может выступать как символ условий, в которых возможно только *неподлинное*, недостоверное, искаженно-искажающее *знание* и *неполное существование*” [5, т. 2, с. 311]. Не такова ли и *хаотичная* гороховская квартира Обломова, где поистине спутались спальня и кабинет, а в нем туалетные, столовые и письменные принадлежности хозяина, который на протяжении всего пребывания в ней ни разу даже не выглянул наружу? И можно ли счесть постоянное лежание в ней Обломова сколько-нибудь полным существованием?

Второй смысл квартиры-пещеры Ильи Ильича подсознательно ощущается им самим – отсюда попытка преодолеть ее замкнутое пространство *мечтой* о деревенской жизни на лоне природы, с маленькой “колонией друзей”, в обновленной Обломовке. Вместе с тем итоговая, вне сомнения, негативная оценка второго романного локуса “Обломова” принадлежит только самому автору произведения. Сосредоточивая внимание читателя на таких неизбежных атрибутах пещерного уединения, как неподвижность, жизнебоязнь, нелюдимость и духовное оскудение, романист исподволь ведет его к выводу: изолированная от мира квартира Обломова – иллюзорное спасение от мертвечины (ада) официального и светского Петербурга, так как на деле существование в ней – лишь ее дурная крайность.

Не Захаровым “ворчаньем” или “рычанием” (с. 39, 45), а “отчаянным” лаем встречает Обломова при первом его посещении дом Пшеницыной. Охранявшая его “большая *черная* собака”,

рвавшаяся на цепи, скорее всего интуитивно ассоциируется читателем с Цербером – в греческой мифологии чудовищным псом, стражем Аида – подземного царства мертвых. Другие реалии пшеницынского дома – “сморщенная старуха” на его крыльце и появившийся откуда-то “сонный мужик в тулупе” (с. 231, 232) – в качестве традиционных в русской прозе перифразов смерти – призваны подтвердить основательность этой параллели. Служит ей и последующее замечание Ильи Ильича, обращенное к Пшеницыной: “Какая тишина у вас здесь! <... > Если б не лаяла собака, так можно подумать, что *нет* ни одной *живой души*” (с. 233). На возникающую античную (и дантовскую), а также гоголевскую параллель образа “работают” также *монотонные* ответы хозяйки дома и *тупое* выражение ее лица (“Она тупо выслушала и тупо задумалась”), когда она не понимала Илью Ильича.

В дальнейшем начальное читательское впечатление от дома Пшеницыной будет видоизменяться по мере “сближения” Обломова с Агафьей Матвеевной и возникновения ее любви к нему. В конечном счете пшеницынский дом с его огородом, садиком, где под наблюдением супруги гуляет Обломов, и выездами из него в рощу, на праздничные балаганы и к Пороховым заводам делается средоточием идиллического существования в духе обломовцев, однако существования далеко не столь же безоблачного (не будем забывать о дремлющих в душе Ильи Ильича духовных запросах). Он не будет для Обломова ни очередной пещерой, ни “ямой” (Штольц), но не станет и земным раем.

Гончаровская Швейцария, где развилось взаимное чувство Штольца и Ольги и состоялось их счастливое для обоих объяснение, локус, положительно противостоящий не столько Обломовке (они – антиподы по всем признакам), сколько обломовской квартире на Гороховой и пшеницынско-обломовскому дому на Выборгской стороне. Эта горно-озерная страна своим ландшафтным своеобразием объективно также подобна некоему острову-убежищу, только не спрятанному в земле, а возвышающемуся над европейскими равнинами. Для Ольги и Штольца, людей развитых, высококультурных, она прежде всего родина и место действия знаменитых романов Ж.-Ж. Руссо “Юлия, или Новая Элоиза” (1761), “Эмиль, или О воспитании” (1762), чьи педагогические идеи Гончаров учел при изображении детства и отрочества Андрея Ивановича. Вообще, с героями Руссо писатель – по меньшей мере косвенно – сопоставил своих персонажей. И не только. Для Герцена Швейцария – страна его гражданства после

эмиграции из России; для Лескова – родина обаятельного, но не знающего России революционера Василия Райнера из романа “Некуда”; для Достоевского – место лечения его “Князя-Христа” Льва Николаевича Мышкина. В Швейцарии разворачивается действие романа Жорж Санд “Леоне Леони” (1835) и повести Л. Толстого “Люцерн” (1857). Часть этого литературного контекста так или иначе учтена автором “Обломова”.

Другим романским локусом, сосредоточившим в себе благотворные для человека начала природного и общественно-исторического бытия, явлен в “Обломове” южный берег Крыма. Многогранность образа Крыма у Гончарова обусловлена уже его объективным положением как перекрестка разных цивилизаций, народов, культур, даже природных зон, а также теми многочисленными художественно-поэтическими его интерпретациями от античных авторов до Пушкина, Мицкевича и Л. Толстого (вспомним его “Севастопольские рассказы”), которые были отлично известны Гончарову и его образованным читателям-современникам.

Не пытаясь, ввиду невозможности охватить все и всякие переклички крымского образа Гончарова с предшествующими литературными трактовками Крыма, остановимся на одной из его начальных деталей: “Сеть винограда, плющей и миртов, покрывала коттедж (Штольцев. – В.Н.) сверху донизу” (с. 347). Слово “виноград” означает город вина, т.е. место, где оно родится. Вино же – “древний мифологический символ плодородия и мифологический знак, отождествляемый с кровью человека”. В переосмысленном виде он обнаруживается и в христианской мифологии (в словах Иисуса Христа, взявшего чашу В<ина> и сказавшего: “сие есть кровь моя”, Матф. 26, 28) [5, т. 1, с. 236]. Южный Крым – один из виноградоносных краев земли. И доверие виноградной лозы к дому Штольцев – лишнее свидетельство *полнокровной* жизни его хозяев. *Плющ* непосредственно связан с Дионисом (Бахусом, Вакхом) – богом плодородия сил земли, растительности, виноградарства и виноделия, а также с *вакханками*. Символы “плющ”, “плющевой” (как и “виноградная гроздь”) имел сам Дионис; с “тирсами (жезлами), увитыми плющом”, в его шествиях участвовали вакханки [5, т. 1, с. 380]. “Как безумная”, бросилась в объятья Штольца и “как вакханка, в страстном забытии замерла на мгновение, обвив ему шею руками”, помнится нам, и Ольга Ильинская в “крымской главе” четвертой части “Обломова”, оживляя тем самым весь мифологический подтекст этой сцены, да и всего образа Крыма.

Не менее значим в этом описании и *мирт* – “прекрасное благоухающее растение из рода вечнозеленых” [7, с. 475]: “Из миртовых веток и листьев в древности делались венки, которые накладывались на головы героев и победителей... Миртовый венок с розами в древности был любимым брачным украшением на Востоке” [7, с. 476]. Значит, и жилище положительных персонажей романа, и место, на котором оно стоит, предстает как обитель людей, ставших победителями в жизненных испытаниях. Ни Ольга, ни Штольц, достигнув в Крыму вершины земного человеческого счастья, тем не менее не сравнивают его с райским, очевидно, разумея под ним лишь счастье вечное, требующее и физического бессмертия человека. Но как раз к такому сравнению своей краткой (весенне-летней) любви к Ольге прибегает в разговоре со Штольцем Обломов, не способный, по его словам, забыть, что он “когда-то жил, *был в раю...*” (с. 336). Этот факт подкрепляет позицию С.Н. Шубиной, считающую “образ рая” и связанные с ним мотивы “сюжетным архетипом” гончаровского романа [8, с. 173].

Напомнив представления славян и других народов о рае, описанные А.Н. Афанасьевым на основе фольклорных и мифологических преданий (рай – блаженное царствие “вечной весны” и “вечного лета”, “неиссякаемого света и радости”; его разные названия везде обозначают *сад*), исследовательница в том же духе – как некое единство – интерпретирует, “сад, рощу, парк”, в которых происходит и первое, и решительное объяснение Ильи Ильича и Ольги в любви [8, с. 84]. А также – и “несостоявшееся грехопадение”, входящее в романский сюжет, действительно, дважды. Однако, уточним: *сначала* “как событие конкретное, происходящее между героями <...> в описании их ночного (вернее, вечернего. – В.Н.) свидания”, а затем “как ситуация обобщенно-типовая, возможная для любой любовной коллизии” [8, с. 173, 177]. В обоих случаях предполагается проекция на известный библейский рассказ, в частности на фигуру *змея-искусителя*, ассоциации с которым возникают в произведении и раньше [8, с. 177].

«Змей, по-древнееврейски “нахаш”, – производное от такого же глагола, означающего “шипеть”. Именно как сатанинский шепот самолюбия” определяет Обломов свои сомнения по поводу любви Ольги к нему. Ольга как бы слышит соблазняющий ее “таинственный шепот”, не покоряясь ему...» [8, с. 176]. В ситуативной близости к древнему грехопадению Ольга и Обломов оказываются в зафиксированной нами ранее сцене в вечерней парковой аллее, где герои “блуждают” молча, а Ольге чудится “кто-то”, мелькающий

в темноте, и ей “страшно”, но “как-то хорошо страшно” самого Ильи Ильича (с. 211). Характеризуя чувства, переживаемые Ольгой, – говорит Шубина, – Гончаров использует весьма знаменательные выражения: “ее грызло и жгло воспоминание”, “ей было стыдно и досадно на кого-то”. «Особенно важно <...> следующее место в данном эпизоде: “А в иную минуту казалось ей, что Обломов стал ей милее, ближе, что она чувствует к нему влечение до слез, как будто вступила с ним со вчерашнего вечера в какое-то таинственное родство” <...>. Выражение “влечение до слез” явно соотносится с соответствующим местом из библейской истории о грехопадении» [8, с. 178].

Во втором эпизоде в опасной возможности их грехопадения признается Ольге Обломов: “Меня грызет *змея*: это – совесть... Мы так долго остаемся наедине: я волнуюсь, сердце замирает у меня, ты тоже непокойна... я боюсь... – с трудом выговорил он.

– Чего?

– Ты молода и не знаешь всех опасностей, Ольга. Иногда человек не властен в себе; в него вселяется какая-то *адская* сила, на сердце падает *мрак*, в глазах блещут молнии. Ясность ума меркнет: уважение к чистоте, к невинности – все уносит *вихрь*; человек не помнит себя; на него дышит страсть; <...> под ногами открывается бездна” (с. 219). Подчеркнув важность этого образа, С. Шубина приводит его значение в славянской мифологии: вихрь – “это нечистый, опасный для человека ветер, олицетворение демонов и результат их деятельности. <...> Последствиями встречи с вихрем являются смерть, тяжелые болезни и увечья” [8, с. 177]. Не таковым ли стало и само *страстное* чувство Обломова к Ольге, закончившееся для героя *горячкой*?

Итак, библейский подтекст в изображении загородного сада-парка как будто бесспорен. И все же в полной мере раем этот весенне-летний парк представлялся лишь Илье Ильичу, но не Ольге и не автору романа. Вместе с ассоциациями райскими здесь не менее, если не более, ощутимы иные – не с библейским Эдемом, а с дантовским *Чистилищем*. Заметим: в парке есть благоухающая сирень, цветы, но нет собственно плодовых деревьев с их плодами, нет яблонь и райских яблок, без которых немыслимы ни древний земной рай, ни пребывающие в нем прародители людей. Зато многократно обозначены *горы* и *подъемы* на них, вслед за “ангелом” Ольгой (с. 198, 207, 216), Ильи Ильича Обломова.

Огромная гора, разделенная на семь *кругов* – по числу семи смертных пороков, – в своем од-

новременно и наглядно-зримом, и символическом значениях являет собой в “Божественной комедии” Данте Чистилище, а долгое и трудное восхождение по этой горе вместе с Вергилием в конце концов откроет великому поэту-флорентийцу путь к земному раю, где его встретит Беатриче. Мы помним, к каким уловкам прибегала Ольга, чтобы побудить Илью Ильича подниматься с ней на окрестные горы. И Обломов поднимался. Но сразу же после ее отъезда в Петербург он “сошел с горы”, чтобы более никогда на нее не восходить. Илья Ильич не имел особых грехов и пороков, кроме отмеченных нами ранее чревоугодия и лени, а также сопряженного с маловерием *уныния* (в “Чистилище” Данте унылые очищаются в круге третьем, а чревоугодники – в шестом). Но он в своих духовных подъемах явно не дошел и до круга шестого (вспомним, как соблазнился он почти “обломовским” воскресным пирогом Пшеницыной!), а ведь предстоял еще седьмой, где очищались сладострастники (отнести к ним Обломова, испытывавшего страсть к Ольге и чувственное влечение к Пшеницыной, есть определенные основания). Так или иначе – безоговорочно отождествить загородный сад-парк Ильи Ильича и Ольги с библейским раем все-таки нельзя: он только путь к нему, который гончаровский герой не одолел. Или – место своеобразного, опять-таки до конца не освоенного Обломовым, Чистилища.

* * *

В целом основные локусы “Обломова” связываются между собой либо по смысловому сходству (как Обломовка, квартира на Гороховой и дом Пшеницыной, и в свой черед – загородный парк, Швейцария и Крым), либо альтернативно. Но между петербургским местоположением Ольги Ильинской, живущей на Морской улице, и домом Пшеницыной, где с третьей части романа обитает Обломов, есть и материальное *средство* сюжетно-действенной связи. Это *река* Нева и то снимаемый, то вновь наводимый *мост* через нее, образы которых исполнены не меньшей многозначности, чем центральные персонажи и главные места романских событий.

Река, пишет В.Н. Топоров, “важный мифологический символ, элемент сакральной топографии. <...> Образ Р<еки> играет значительную роль в сказочных мотивах (ср. в русских сказках такие мотивы, как Р<ека> – оборотень, огненная река, за которой живет змей, Р<ека> с кисельными берегами <...>, а также важный мотив купания героя или девиц-царевен в Р<еке> или озере). <...> Мотив вступления в Р<еку> означает начало важного дела, подвиг; переправа через Р<еку> –

завершение подвига, обретение нового статуса, новой жизни...” [5, т. 2, с. 374, 376]. Река – это и *вода* как “одна из фундаментальных стихий мироздания”, “среда, агент и принцип всеобщего зачатия и порождения”; с мотивом воды как первоначала “соотносится значение В<оды> для акта омовения, возвращающего человека к исходной чистоте” [5, т. 1, с. 240].

Илья Ильич не раз переезжает Неву при свиданиях с Ольгой в ее доме, но “входит” в нее только однажды и то по инициативе девушки, письмом вызвавшей его на незапланированное свидание в Летний сад. Употребляем глагол *входит* в кавычках, так как на самом деле Обломов с неохотой принимает Ольгино предложение (“Что ты? Бог с тобой! Этаким холод, а я только в ваточной шинели...” – с. 258) “покататься в лодке”. А причина для этого у девушки действительно важная: ведь в русском фольклоре переход через реку (ручей) – это (вспомним сон Татьяны Лариной) и знак желанного замужества. На Неве Ольга “зачерпнула горстью воды и брызнула ему в лицо” (с. 259), как бы приглашая любимого свершить очищающий акт омовения. Но “он зажмурился, вздрогнул, а она засмеялась” (с. 259). Потом девушка спрашивает у лодочника, какая это *церковь* виднеется вдаль, тем самым намекая Обломову на необходимость ускорить их все откладываемое венчание. Но герой, судя по его реакции на Ольгин вопрос, не понимает ее. Отклоняет он и попытку девушки переплыть – *переправиться* на “противоположную”, т.е. Выборгскую, сторону Невы (“Нельзя ли туда? – спросила она... Ведь ты там живешь!” – с. 259), что символизировало бы начало новой жизни для обоих.

Мост в славянских поверьях – “сооружение и локус, которые <...> соединяют земное и потустороннее пространство; место контактов человека с мифическими существами; один из наиболее опасных и ответственных участков пути. Переход по мосту осмысливается как преодоление границы между мирами” [2, т. 3, с. 303]. Мифопоэтическая символика моста (переправы) широко используется в романах Гончарова. В “Обыкновенной истории” Александр Адуев в острокризисный момент своей жизни поднимается на разводной речной мост, чтобы покончить с собой, но в последний миг делает спасительный прыжок “на ту сторону”. В “Обрыве” Вера и Иван Тушин переправляются через Волгу с целью нравственного обновления или обретения подлинного счастья.

Обломов с началом зимы разлучен с Ольгой снятым мостом через Неву. “Конечно, – сообщает повествователь, – можно было бы броситься

сейчас же на ту сторону, поселиться на несколько дней у Ивана Герасимовича и бывать, даже обедать каждый день у Ольги. <...> У Обломова первым движением была эта мысль, и он быстро спустил ноги на пол, но, подумав немного, с заботливым лицом и со вздохом, медленно опять улегся на своем месте” (с. 265). “Прошла неделя”, мосты были наведены, и Ольга, не дождавшаяся Ильи Ильича в течение всего воскресения, но не подозревающая обмана («“Он болен; он один; он не может даже писать...” – сверкнуло у ней в голове»), наутро сама едет в дом Пшеницыной, чем, однако, скорее ужасает, а не радует героя (с. 270, 272). И в самом деле, немалая внутренняя разница-граница, разделявшая Ольгу и Обломова, и на этот раз осталась им непреодоленной. Так, уже без заключительного *воскресного* свидания и возможности нравственного воскресения в этот день прошел очередной шестоднев Ильи Ильича. “Не только типы, но и отдельные сцены в романах Гончарова, отмечал в 1912 г. В.Е. Евгеньев-Максимов, – могут быть истолкованы символически” [9, с. 180–181].

Вместе с семантически многослойными понятиями “запертого” в герое “*света*”, который безуспешно искал выхода и угас, и “гроба, сделанного собственными руками”, в “Обломове” изначально задан и древний мотив “клада”, т.е. “хорошего, светлого начала” заглавного героя, которому “давно бы пора быть ходячей монетой”, но “кто-то (дьявол, Сатана? – В.Н.) будто украл и закопал в собственной его душе принесенные ему в дар миром и жизнью сокровища” (с. 77). Не касаясь смысловых обертонов, привнесенных в данный образ русским фольклором, европейской и мировой литературами, укажем на его евангельский источник. Нереализованный клад Обломова – это гончаровская вариация новозаветного *таланта* (буквально – самой крупной из денежных единиц античного мира) из притчи о человеке, который, получив его, вместо того, чтобы пустить в дело, зарыл в землю (Мф. 25, 15–28).

Еще в XIX веке критик В.В. Чуйко поставил автора “Обломова” рядом с творцом “Божественной комедии” по “желанию и умению свести к одному окончательному синтезу всю историческую и общественную жизнь определенной эпохи” [10, с. 288]. Ранее мы отмечали относительно частные аналогии “Обломова” с дантовской “комедией”. Предположение, что Гончаров-романист шел по пути Данте и Н. Гоголя (как автора “Мертвых душ”) с общей для них *трехчастной* формой главных произведений высказал и В.И. Мельник, видящий своего рода *ад*, *чистилище* и *рай* уже за фамилиями главных героев гончаровской “три-

логии”: Александра Адуева, Обломова и Бориса Райского [11, с. 29]. На наш взгляд, названные дантовские концепты в качестве сюжетообразующих начал (и сюжетных граней) присутствуют и в “Обломове”. Только здесь они выстроены в ином, чем в “Божественной комедии”, порядке: ад почти беспробудного физического сна и “внутренней борьбы” Ильи Ильича (часть первая) – подобиерая в “поэме изящной любви” (часть вторая–третья) – духовное засыпание и в этом смысле самоумертвление (ад) героя (часть четвертая). В качестве земногорая людей додуховных в произведение вошел “Сон Обломова”, а как образ счастья, устремленного в космическую бесконечность (и по мере приближения к ней обретающего абсолютный характер), – любовь Ольги и Штольца в Швейцарии и жизнь их семьи в Крыму (четвертая и восьмые главы последней романной части).

Обозначенная сюжетная грань “Обломова” тем не менее отнюдь не единственная: с ней органически сплелись и слились мотивы оперного либретто “Нормы” В. Беллини, шекспировского “Гамлета”, сервантесовского “Дон Кихота”, отчасти и драматической поэмы А.К. Толстого “Дон Жуан”. Так, слова Штольца о любви, с “силою Архимедова рычага” движущей миром, по мнению Л.С. Гейро, вполне созвучны мысли А.К. Толстого: “Любовь законами живыми / Во всем, что движется, живет. / Всегда различна от вселенной, / Но вечно с ней съединена, / Она для сердца несомненна, / Она для разума темна”, – в свой черед восходящей к заключительным строкам “Божественной комедии”: “Но страсть и волю мне уже стремилась, / Как если колесу дан ровный ход, / Любовь, что движет солнце и светила” (перевод М. Лозинского).

Наконец, целостный сюжет “Обломова” вбирает в себя библейско-христианские мотивы запертого света и зарытого клада, а также переосмысленный путь древнего эпического персонажа. Какого именно – на это указывает знаменательное в свете будущности Ильи Ильича замечание романиста в “Сне Обломова” о том, что мать Илюши, любясь им и разговаривая о нем с родственницами, ставила “его героем какой-нибудь блистательной *эпопеи*” (с. 91). Сама малообразованная родительница Обломова имела в виду, скорее всего, некий вариант сказания о Еруслане Лазаревиче или Илье Муромце. Но Гончаров (конечно, комически) намекал на гомеровские “Илиаду” (как, по созвучию *Илиона* и имени Обломова, поэму об *Илье*) и “Одиссею”, герой которой, преодолев бесчисленные препятствия и искушения, добрался-таки до родной Итаки. Илья Ильич также дол-

го мечтал вернуться в свою Обломовку, но так и не сумел осуществить эту мечту. И изображенная от колыбели до могилы жизнь его, довлеющая не безустальному движению к идеалу, а неподвижности и покою, может рассматриваться поэтому как своего рода Антиодиссея.

Внешне весьма незатейлива и общая картина обломовской жизни с ее “простыми, несложными событиями” и воспроизведением бытийных проблем, коллизий и драм человеческого существования в их *бытовых* проявлениях и через обыденные реалии. Но в картине этой вместились архетипичная фигура героя, соматического Гамлету, Дон Кихоту, Дон Жуану, Фаусту, Чацкому, и его, в глубинном ее смысле, вековая драма, о которой хорошо сказал М.В. Отрадин. Называя Обломова носителем особого сознания, которое не приемлет идею <...> постепенного преобразования жизни в соответствии с идеалом, с учетом объективных условий жизни и объективного хода времени, исследователь заключает: «такому сознанию, такому герою противостоит не рок <...>, а объективный ход жизни. Жизнь никогда не может стать только “пребыванием”, потому что она всегда <...> движение, становление. Такое сознание, такой герой неизбежно оказываются в непреодолимом конфликте с жизнью. В этом смысле можно говорить о трагизме обломовского существования» [13, с. 125].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ляпушкина Е.И.* Русская идиллия XIX века и роман И.А. Гончарова “Обломов”. СПб., 1996.
2. Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 3. М., 2004.
3. *Даль В.И.* Толковый словарь Живаго великорусского языка. Т. 2. СПб.: М., 1881.
4. *Лоциц Юрий.* Гончаров. 3-е изд. М., 2004.
5. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 т. М., 1992.
6. *Полтавец Е.Ю.* Темы 112–117 // “Литература”. 2004. № 18.
7. Библейская энциклопедия. Издание Свято-Троице-Сергиевой лавры, 1990.
8. *Шубина С.Н.* Библейские образы и мотивы в любовной коллизии в романе И.А. Гончарова “Обломов” // И.А. Гончаров. Материалы международной конференции... Ульяновск, 1998.
9. *Максимов В.Е.* Гончаров // Очерки по истории русской литературы 40–60-х годов. СПб., 1912.
10. И.А. Гончаров. Его жизнь и сочинения. Сборник историко-литературных статей. Составитель В. Покровский. СПб., 1912.
11. *Мельник В.И.* Гончаров как религиозная личность // *Studia Slavica. Hung.* 40 (1995).
12. *Гейро Л.С.* Примечания к основному тексту “Обломова” // *Гончаров И.А.* Обломов. Литературные памятники. М.: Наука, 1987.
13. *Отрадин В.М.* “Обломов” в зеркале времени // Роман И.А. Гончарова “Обломов” в русской критике. Л., 1991.